
ОТ АВТОРА¹

Сли взглянуть сейчас на прилавки книжных магазинов, на страницы многих журналов и других изданий, то непременно бросится в глаза обилие мемуарных публикаций. Пишут старые большевики, военные, герои социалистического труда, ученые, артисты... Это закономерно. В жизни каждого человека приходит пора, когда хочется обратиться к прожитому, проверить, все ли ты сделал, к чему обязывали твои способности, когда хочется поделиться своим опытом с молодежью, предостеречь ее от лишних ошибок, подсказать более надежные пути.

Ныне эта потребность стала уже ощущением долга. Каждый, кто не зря прошагал вместе с социалистической революцией все эти годы, должен рассказать новым поколениям советских людей о том, как складывалось могущество нашей Родины, ее культура и искусство, как определила революция судьбы людей. Ведь в жизни многих из тех, кто начинал свой путь в период великих революционных преобразований, отразились ведущие черты неповторимой эпохи строительства первого в мире свободного общества. Дети кочевников, батрацкие сыны, выходцы из рабочей среды встретили торжественную дату 50-летия страны Советов как маршалы и генералы, академики и доктора наук, художники и писатели, певцы и актеры... И разве это только их личные достижения, счастливые исключения, мимолетные «улыбки фортуны», как говорили когда-то? Нет, удачливые судьбы людей нашей страны — само существо Октябрьской революции, навсегда ликвидировавшей

¹ Книга печатается по изданию Лемешев С. Я. Путь к искусству. 2-е изд. М.: Искусство, 1974, с сохранением исторических реалий советского периода. — Примеч. изд-ва.

какие-либо социальные перегородки, эксплуатацию человека человеком, широко открывшей все пути-дороги для свободного развития человеческой личности.

Правда, находятся у нас юные скептики, которые иной раз не понимают подлинного смысла этих слов: они явились на свет тогда, когда их деды и отцы уже завоевали свободу и счастье социалистической отчизны. И поэтому именно молодежи особенно важно, мне кажется, узнать, как помогла революция, коммунистическая партия многим нашим соотечественникам найти свое призвание, свою дорогу в жизни.

Поэтому я и посвящаю свою книжку молодежи, новым поколениям советских людей, тем, кто стал или еще только собирается стать на путь служения искусству, трудному и волнующему искусству оперной сцены.

Как, вероятно, и другие деятели советского искусства, я получаю много писем из различных уголков нашей Родины. Пишет преимущественно молодежь. Мои корреспонденты обычно просят меня рассказать о моем жизненном и творческом пути, о том, как я стал артистом Большого театра.

Я верю, что не праздное любопытство, не пустой интерес подсказывают эти вопросы молодым людям, стоящим на пороге самостоятельной жизни. Ими в первую очередь, конечно, руководит желание ближе узнать различные области человеческого труда, чтобы не сделать ошибки и правильно избрать свою жизненную дорогу, свою профессию. Это ведь так важно сейчас, когда для молодежи созданы все условия большой, интересной, созидательной деятельности. К тому же одной из самых заманчивых жизненных целей для юношества всегда было искусство, и особенно — сцена. Но чтобы на этом пути не повстречаться с разочарованием, не потратить напрасно драгоценные годы молодости, нужно не только страстное желание, и даже не только подлинное призвание, талант. Без таланта никто, конечно, не станет художником, но профессия артиста, певца, как и всякая другая, требует еще и знаний, культуры и прежде всего — культуры труда. Вот почему, я думаю, нашей молодежи полезно знать, какими путями пришел в искусство

тот или иной артист, как он трудился, овладевал культурой своей профессии, какие опасности и соблазны подстерегали его на этой дороге, как он боролся за свои творческие удачи. Сила примера — великая воспитательная сила.

Относя все это к самому себе, я хочу предупредить читателя, что в моей книге он не найдет ничего исключительного, из ряда вон выходящего. Но обыденность, простота моей творческой биографии сами по себе являются наглядным примером огромных демократических завоеваний Октября. Социалистическая революция дала мне, крестьянскому сыну, возможность посвятить себя любимому делу, узнать счастье творчества, петь на крупнейшей нашей оперной сцене.

Вот об этом я и хочу поведать моим читателям и слушателям, особенно тем, кто начинает свою жизнь в искусстве.

Если эти страницы хотя бы в небольшой мере смогут послужить делу воспитания нашей талантливой молодежи, я буду считать, что цель моей книги достигнута.

ДЕТСТВО

Начну с самого «доверительного»: в письмах ко многим артистам слушатели прежде всего спрашивают об их возрасте. И именно на этот вопрос редко получают ответ. Почему? Я думаю потому, что, десятки лет появляясь перед зрителями в образах восемнадцатилетнего Ленского или четырнадцатилетней Джульетты, не так-то легко признаться даже себе, что вы в два, а то и в три раза переросли своих героев. И не только потому, что не хочется стареть, просто жизнь наших героев становится частью нашей собственной жизни. И хотя я никогда не скрывал своего возраста, должен сказать — он пока не очень уж мешает моему творческому самочувствию. И сейчас, на пороге своего семидесятилетия, я с гордостью думаю о том, что хотя и не часто, но еще пою концерты, что могу еще служить своим искусством многим и многим слушателям нашей страны.

А теперь я все же возвращусь к тому, с чего начал, и назову дату своего появления на свет: это произошло 10 июля 1902 года в деревне Старое Князево, бывшей Тверской губернии. Родители мои — Акулина Сергеевна и Яков Степанович, которым тогда вместе отроду было не более пятидесяти лет, поженились без согласия родителей отца. Дед, в гневе за то, что сын против его воли взял в жены бедную девушки, бесприданницу, выгнал его из дома, не выделив ни клочка земли. Так и начали молодые свою семейную жизнь, без хозяйства, без кровя. А для безземельного крестьянина был лишь один удел — батрачество. Стали и они батраками у местного помещика...

Первые мои жизненные впечатления ограничиваются стенами людской помещичьего дома; в одном из ее углов

нашла горький приют моя мать со мной и старшим братом (который скоро умер). Правда, изредка мне удавалось пробираться в барские комнаты, где я попадал словно в сказку: все меня чаровало — красивая мебель, картины, фарфоровые безделушки, хрусталь, а особенно — рояль, который чудесно пел, когда я робко нажимал пальцем клавишу. Но за подобные экскурсии мне сильно доставалось от матери, и я не решался их часто повторять. Только на дворе я чувствовал себя вольготно. Особенно тесную дружбу водил с собаками. Они всегда спасали меня от самого заклятого врача: старого спесивого индюка, который почему-то питал ко мне жгучую ненависть и всегда норовил ущипнуть за ногу. Так как я обычно что-нибудь приносил моим четвероногим друзьям — корки хлеба или кости, незаметно подобранные после обеда в людской, — они, едва завидя меня, бросались со всех ног навстречу, а индюк спешно убирался, предчувствуя, что в бою с собаками ему не устоять.

В ту пору отец уже с нами не жил. В поисках лучшей доли он ушел на заработки в город. Был грузчиком, таскал пятипудовые мешки, потом поступил на текстильную фабрику Морозова в Твери, потом еще куда-то... Не зная ремесла, он мало зарабатывал и часто менял места в тщетной надежде выбраться из нужды. Нам он почти не помогал. Все заботы о семье, о нас, малышах, целиком легли на плечи матери. Маленькая, хрупкая на вид, она была упорна и старательна в труде: вставала вместе с солнцем, а кончала работу уже затмено. Она убирала весь барский дом, на ее попечении были оранжерея, птичий двор. Мы почти и не видели мать. Но всегда ощущали ее заботу, ее тихую скромную ласку. Я не помню, чтобы она когда-нибудь повысила на нас голос — только как-то уж за очень, видно, большую провинность она погрозилась выпороть меня, но и то сама же откинула ногой под лавку веревку, лежавшую на полу, сделав вид, что не нашла ее. Да мне-то с печки, куда я забрался в ожидании порки, все было видно...

Себя я помню с трехлетнего возраста. В этом меня убеждают два факта из раннего детства. Вспоминается, что как-то холодным зимним утром мать укутала меня, посадила на крошечные сани и сказала «поедем к Антону».

Это был местный грамотей и по совместительству — портной. Мать, видимо, решила перешить мне что-то из своего старого казакина, может быть, даже еще девичьих времен. По дороге она, встретившись с соседкой, остановилась поболтать, а я, замерзая на санках, теребил ее за юбку и кричал с хвастливыми интонациями ее собеседнице: «К Антону едем!»

Спустя много лет я как-то спросил мать, помнит ли она этот случай.

— Я-то помню, — сказала она, — ведь не так часто тебе что-то шили, а вот как ты это помнишь, тебе ведь было всего три года.

А вот еще более доказательный пример. Моя бабушка со стороны матери жила в соседнем селе Стружня, на расстоянии полутора-двух километров от нашей деревни. И я помню, мать мне как-то сказала: «Пойдем, Сереженька, к бабушке, там дядя Коля приехал». Увидев своего брата, мать расплакалась, а я перепугался — уж очень вид у него был грозный и одет он был как-то чудно. Как потом я узнал, мой дядя служил солдатом в артиллерию, бомбардиром-наводчиком, и вернулся домой прямо после окончания русско-японской войны с наградой — серебряными часами, полученными за то, что со второго выстрела сбил вражеский аэростат. Война же окончилась, как известно, в 1905 году, когда мне было три года.

А вообще я очень любил ходить к бабушке: она варила вкусную пшеничную или гречневую кашу, пекла пироги с капустой, луком, яйцами, да еще из белой муки. С ней жили все ее четыре сына — летом они сапожничали в городе, а зиму проводили в деревне. Жили все они дружно, весело, к матери моей относились очень нежно, с сочувствием, считая, что ее жизнь не удалась. Ласки перепадали и на мою долю, и я очень любил моих дядьев: никогда я не видел, чтобы они пили водку, не слышал от них бранных слов. И мне приятно вспомнить, что значительно позднее, когда дядюшки оказались обремененными многочисленными семействами и им приходилось трудновато, я помогал им, а приезжая после сезонов к матери в деревню, всегда собирал их вместе с женами и детьми. Мне очень хотелось

доставить им радость за ту доброту, которую я видел в детстве. С отцовской стороной мы не роднились, несмотря на то, что наша избушка стояла на расстоянии трех метров от дома моего деда...

Помню и день, когда мне исполнилось пять лет. Это был Сергиев день, который в селе Стружня издавна являлся престольным праздником. С утра, вернее даже с вечера, накануне, я готовился идти с матерью в гости к бабушке. Июльский день выдался жаркий, сенокос был в разгаре, мать батрачила — с утра косила, а днем должна была сушить сено. Она заметила мое торжественное настроение (я уже надел длинные штанишки, красную сатиновую рубашку с поясом) и сказала: «Иди ты один, Сереженька, к бабушке, а я приду попозже, как уберусь».

И вот я отправился, предвкушая веселую встречу с родными, подарки от дядюшек и прочие радости. День был тихий, жаркий, в высокой ржи стрекотали кузнечики; как вышел я с нашего поля, которое от соседнего отделял небольшой ручеек, так увидел на пригорке красивую карету, запряженную двумя лошадьми, а впереди бежали две собаки. Еще на большом расстоянии они заметили меня и стремглав бросились навстречу. Вот тут-то я страху натерпелся... Спрятавшись во ржи, в нескольких шагах от дороги, закрыв глаза, я с ужасом ожидал, что будет дальше. Был уверен, что если они меня не съедят целиком, то уж, наверное, здорово покусают. Вдруг чувствую, что в руки мне тычется что-то холодное, а по ногам чем-то упругим колотят, точно жгутом, но не очень больно. Открыл я глаза и увидел рыжих собак с добрыми глазами (как позднее я узнал, это были охотничьи сеттеры). Тут поравнялась карета и ее хозяйка, молодая красивая дама в белом кружевном платье и большой шляпе с цветами, улыбнулась и ласково сказала: «Не бойся, мальчик, они не кусаются» — и спросила, куда я иду. Я уже оправился от испуга и гордо ответил:

— К бабушке в гости, сегодня я менинник (так говорили у нас в деревне).

— А сколько же тебе лет?

Я подумал, что пять звучит как-то маловато, и для солидности ответил:

— Мне сегодня уже шестой год!

Дальше добрался я до бабушки без приключений, а мать пришла поздно, к вечеру, отработав двенадцать часов...

Как обычно все дети, мы не щадили мать. Едва она приходила домой, усталая, измученная, как мы с младшим братом Ленькой наседали на нее с требованиями сказок! Рассказывала мать хорошо, но от усталости часто засыпала на полуслове, а мы безжалостно будили ее, требуя, чтобы она продолжала точно с того самого места, на котором заснула. А знали мы эти сказки так хорошо, что без труда поправляли мать, если она ошибалась. Запомнилась мне сказка про петуха.

«Жили-были старики со старухой, жили бедно, — всего хозяйства-то у них было — один петух», — начинала мать, и перед нами развертывалась захватывающая картина приключений находчивого петуха, вставшего на защиту своих старииков хозяев от злого помещика. Петух был необыкновенный. Бросил его помещик в колодец — петух выпил всю воду и остался жив-здоров; бросил в огонь — петух залил его водой, выпитой из колодца. Рассказывала мать и пушкинские сказки в народной интерпретации, и сказки про зверей... Но, пожалуй, больше всего мы любили трогательную сказку про сестрицу Алешку и ее брата Иванушку.

Но еще лучше мать пела... Мне запомнились долгие зимние вечера, когда мать со своими подругами сидела за пряжей и они пели согласным, стройным хором. Тонкий, инструментально ровный голос матери поднимался над другими, звучал грустно и нежно. Да и песни-то пели у нас все грустные, надрывные.

Первые песни, которые я услышал, были: «Уродилася я, как былинка в поле», «Ванька-ключник», «Вниз по матушке, по Волге», «Во субботу день ненастный», «Выйду ль я на реченьку», «Потеряла я колечко», «Не будите меня, молоду» и другие. Веселых песен мне запомнилось мало: тогда их пели, пожалуй, только на праздники, когда молодежь собиралась водить хоровод. Помню длинную до бесконечности, протяжную песню, которую запевали девушки, а хор им подтягивал:

«Туман, туман при долине,
Широкий лист на малине,
Есть пошире на дубочке,
Манил молодец девочку,
Не свою манил, чужую:
— Пойдем, радость, поцелую...»

В это время мы уже переселились в деревню... В один из своих редких наездов из города отец построил нам крохотную избушку в два оконца, переделав под нее какой-то стальной, заброшенный сарай. Потолок был так низок, что только люди очень небольшого роста могли войти не сгибаясь. Вот в этой избе и жили мы примерно с 1907 года.

Переселившись в деревню, мать начала батрачить у кулаков. От этой перемены жизнь наша, вероятно, не стала легче. Но нам она показалась привольнее, чем раньше. Теперь мы никому не мешали, никто на нас не кричал, не делал выговоров. Деревенская обстановка была мне по душе, стало больше простора, появились товарищи, с которыми можно было играть, купаться в речке, ходить в лес.

Появилась у нас еще одна ребяческая радость: к нам в деревню раза два в неделю наезжал из соседнего села тряпичник дядя Илья.

Этот маленький, худой человек с небольшой рыжеватой бороденкой и быстрыми юркими глазами отличался от других мужиков необыкновенно нежным голосом и приветливой речью, которую он щедро пересыпал ласковыми словами. Он был любимцем деревенской детворы. Но особенно нас привлекал его передвижной «магазин». В центре телеги или розвальней (это смотря по времени года) красовалась молодая ветвистая березка, корона которой была щедро усажена всячими птичками, зверьками, солдатиками и лошадками, испеченными из дешевой муки и щедро раскрашенными самим дядей Ильей при помощи клюквенного сока. Рядом с березкой стоял большой мешок с семечками и другой, поменьше, с конфетами.

Эта необыкновенная повозка дяди Ильи всегда повергала нас в радостное изумление. А он, как только, бывало, въедет в деревню, тотчас же зальется звонким и веселым голосом, выкрикивая чуть ли не за целую версту:

— Эй, дружки-ребятушки, выходите, добро, тряпье свое выносите!

Позывные сигналы дяди Ильи действовали на нас мгновенно — чем бы мы ни занимались, тотчас все бросали и, сверкая босыми пятками, во весь дух неслись домой собирать тряпье. Мы тащили все, что попадало под руку. Драные отцовские брюки, мамины юбки, тряпки. За это нам часто здорово доставалось от родителей — ведь у нас в доме почти все годилось для продажи дяде Илье! Весь «гардероб» мой, брата, отца и матери можно было не глядя отдать тряпичнику. Но я понимал, что хоть одежда наша вся в заплатах, раз мы ее еще носим — она неприкосновенна. И с каждым днем становилось все труднее находить хлам, который я мог бы без боязни отдать дяде Илье. Однако так же трудно было пропустить его «фаэтон» мимо своего дома, не обменяв ничего на сладкие жареные семечки — о конфетах мы и не мечтали!

Подкупала и ласка — каждого из нас дядя Илья называл «товарищем».

— Ну-ка, товарищ (так он выговаривал это слово), давай, что у тебя там есть.

И мы летели стрелой за «товаром». Случалось, что впопыхах, а то и от отчаяния хватали вещи, еще пригодные в доме. Но дядя Илья знал мужицкую нужду и непреклонно отправлял нас обратно — ведь и нам бы попало, да и его бы наши родные не поблагодарили. Дороже всего ценил тряпичник кости. Но где было их брать, когда мяса-то мы почти и не ели! И вот однажды в отчаянии, что ничего не нашел для дяди Ильи, я решился на подлог: взял тряпку, завернул в нее кусок кирпича и, склонив от смущения голову, чувствуя, что краснею как рак, подал тряпичнику будто кость. Дядя Илья, конечно, сейчас же заметил обман, но, видимо, густой румянец, заливший мое лицо, заставил его сжалиться надо мной и сделать вид, что ничего не произошло. Он швырнул в повозку мой сверток и выдал мне горсточку семечек — ровно столько, сколько застряло их между его пальцами.

С тех пор прошло более полувека, но и теперь еще я не могу вспомнить этот случай без горького чувства стыда.

Около нашей маленькой избенки был лужок, на котором в праздники водили хороводы, пели песни, молодежь играла в чехарду, горелки и другие игры, а ребятишки везде совались, попадали всем под ноги, хохотали. И здесь я не могу не вспомнить об отце...

Без песни я его не представляю. Быть может, потому, что возвращался домой он обычно в праздники; тогда в нашу избенку набивалась тьма народу — у отца было много друзей, — и все просили его петь.

Пел отец всегда охотно, с большой душой, как вообще все делал, — равнодушным, спокойным я его не видел. Голос у него был звонкий, красивый, да и сам он был, как теперь понимаю, очень красив. Выше среднего роста, широкий в плечах, с густыми русыми кудрями и пышными усами, он привлекал той открытой, ясной красотой, которая так часто встречается в русском народе. Мать с грустной нежностью называла его «непутевым», но, когда я однажды спросил ее, почему же она вышла за «непутевого», она ответила: «Да ведь красивее его никого не было...»

Из песен отца мне запомнились многочисленные «тройки», которые он пел так, что моя душа, казалось, уносилась вдогонку за его голосом... Знал он и городские песни, которых на деревне тогда не пели: «Среди лесов дремучих», «Не осенний мелкий дождичек», «Доля бедняка»:

«Ах ты доля, моя доля,
Доля бедняка,
Тяжела ты, безотрадна,
Тяжела, горька».

И в его песнях слышались печаль-тоска, горечь несбыившихся надежд... Сейчас я понимаю, что отец принадлежал к тем талантливым русским натурам, которые часто погибали в неравной борьбе с нуждой, так и не сумев выбиться в люди.

Не случайно отца тянула жизнь больших промышленных городов. Настроения у него были вольнолюбивые. Мне запомнился один случай, смысл которого я понял значительно позже. В один из сельских праздников мы с отцом сидели перед домом на завалинке. Мимо нас браво

проществовал жандарм, приехавший в деревню на побывку. У меня дух захватило от великолепия его мундира, звона шпор, нафабренных усов. Не часто ведь нашу деревеньку посещали такие важные особы! А отец, с усмешкой поглядев на вырядившегося жандарма, громко, явно с намерением его задеть, сказал:

— Смотрите-ка, Николкин холуй идет.

Конечно, я не сообразил, что «Николкой» называли царя, но помню, был восхищен смелостью отца. Еще более возгордился я, когда жандарм, вместо того чтобы полезть в драку, поспешно ретировался, а отец продолжал посыпать ему в спину бранные слова. Надо сказать, что Яков Степанович отличался силой и отчаянным характером, поэтому мужики боялись с ним ссориться.

Был у отца закадычный друг — пастух Василий, который замечательно играл на рожке; всегда, когда я слышу соло гобоя во второй картине «Евгения Онегина», вспоминаю его. Он обычно подыгрывал отцу, когда тот пел, и это совместное «музицирование» свело их в тесной дружбе. Василий был чахлый, больной, страдал запоями, но обладал душой поэта. И крестьяне ему за это многое прощали. Кроме того, возможно за игру на рожке, его любили животные.

Иной раз, когда Василий сильно запивал, его смещали с «должности», но коровы, словно в знак протеста, снижали удой молока, и Василия снова «звали на царство».

Был у отца еще приятель — Лазарь Ильин, рыжий, маленький и очень веселый. Без пословиц и прибауток он мне и не вспоминается. Во хмелю Ильин был буйный и тогда, несмотря на свою щуплость, наводил на всех страх. Он дожил до 1958 года, и я, бывая у матери в деревне, любил вспоминать с ним свою юность.

Отца же жизнь быстро сломила. Видимо, его здоровье было давно подорвано, и однажды, холодной порой перейдя речку вброд, слег и уж больше не встал. Его свезли в больницу, где он умер, не достигнув еще и сорока лет. Это случилось в 1912 году.

По тем временам десятилетний парнишка был уже помощником в доме. Поддержкой семьи стал и я, многому научившись у отца. Обычно я сопровождал его на рыбалку,

умея уже ловко ловить рыбу. После смерти отца рыбная ловля стала для меня уже не забавой, а заработком. Помню случай, когда у нас в доме не было ни гроша, а я принес матери первый свой двугривенный, вырученный за проданную рыбу. Мать посмотрела на меня такими благодарными глазами, как будто я одарил ее несметным богатством.

Рыбы в нашей речке было много, к тому же мне везло, и, несмотря на примитивные счасти, я даже умудрялся продавать ее крестьянам или обменивал на муку. Вскоре я проплыл таким мастером рыбной ловли, что стал принимать заказы. Помню, жившая неподалеку от нас бабка Агафья была постоянной моей заказчицей: я ей поставлял рыбу к каждому воскресенью и ко всем праздникам. Это мне ужасно нравилось: мать меня хвалила, но еще сильнее меня вдохновляло, когда соседи говорили матери: «Ну и сын же примерный у тебя, Акулина».

Любил я еще один промысел — собирать грибы. В лесу, который был в полукилометре от деревни, я знал каждый кустик, под которым мог спрятаться грибок. Нужда всему научит! Тогда у меня и выработалась острая наблюдательность, которая необходима в таком деле (и которая позднее так пригодилась мне на сцене). По грибы я любил ходить один, чтобы никто не мешал. Часть грибов сушил для дома, а самые мелкие, то есть лучшие, продавал закупщикам.

Но в лес я любил ходить в одиночку, пожалуй, и по другой причине. Только здесь, в обществе тихих, приветливых березок, я отваживался петь. Песни давно волновали мою душу. Но петь в деревне при взрослых детям не полагалось.

Интересно, что песни стали привлекать мое внимание тогда, когда до меня начало доходить их содержание, смысл слов. Пел я песни главным образом грустные. Меня захватывали в них трогательные слова, рассказывающие о тяжеости подневольной жизни, безрадостном одиночестве, неразделенной любви... И хотя не все из этого мне было тогда понятно, горькое чувство охватывало меня, вероятно, под влиянием печального напева.

«Уродилася я, как былинка в поле,
Моя молодость прошла у людей в неволе...»

Я часто слышал, как ее пели девушки, пели очень выразительно и душевно, словно переживая в песне свою невеселую жизнь. Пели ее, возвращаясь с поля, на работе, пели дома за прялкой, пели вечером на улице, во время короткого отдыха. Очень волновала меня и рекрутская песня «Последний нынешний денечек...». Особенно часто раздавались ее слова осеннею порой, когда шел новый призыв. Пели ее сами новобранцы, «гуляя» свой последний день свободной жизни, пели их родные, близкие, друзья. Звучала она как-то особенно надрывно, и мне всегда хотелось плакать от жалости к уходящим в солдатчину.

Любовь к песне отличала всю нашу семью. Любили ее и сестры отца, особенно две из них. У Наташи было сильное, звонкое сопрано, которое выделялось во всех хорах. Мы узнавали ее голос версты за две! А самая младшая — моя тетка Аниса — обладала голосом, чудесным но нежности и красоте тембра. И сама она была нежная, ласковая, необычайно тихая и скромная. Когда мне было лет тринадцать, она повенчалась с парнем из соседней деревни. Но тотчас после венца убежала из дома мужа и вернулась под родную кровлю. Так и прожила всю жизнь вместе со старшей сестрой.

Из скромности Аниса пела главным образом, когда оставалась одна. Как-то летом, ловя в речке рыбу, я подслушал ее пение — она собирала в поле цветы и запела «Ничто в полюшке не колышется». Теперь эта песня неразрывно связана в моей памяти с пением моей младшей тетки. Голос у нее был, как говорят в народе, «ангельский» — такого тембра я никогда больше не слыхал. Если б революция свершилась лет на десять раньше, то Аниса несомненно стала бы известной певицей. Много, много талантов погибло на старой Руси, так и не раскрывшихись.

И все же детство, какое бы оно ни было — даже самое бедное, — в зрелые годы всегда вспоминается как прекрасная пора жизни. Самые незначительные, казалось, совсем обыденные события юности в нашей повзрослевшей памяти вдруг приобретают поэтический ореол.

Таким представляется мне теперь — в общем обычное занятие деревенских ребятишек — поездка в ночное... Это

бывало в страдную пору полевых работ, когда лошадям, изнуренным трудом и жарою, давали отдых на короткую летнюю ночь... Целой гурьбой мы собирались после захода солнца, садились на распряженных коней, ведя на поводке еще одного или двух. Вместо седла обычно клади домотканую дерюгу, которая ночью служила и подстилкой и одеялом. Для пастбища выбирали местечко километрах в двух-трех от деревни, обычно у болота или на опушке леса, где трава росла плоховато и не годилась для сенокоса. А таких мест в наших краях немало.

Своей лошади у нас не было, но я с охотой выхаживал чужую скотину. Во-первых, это всегда обеспечивало мне общество моих сверстников, а во-вторых, то небольшое вознаграждение за труды, как, например, лепешка или луковица, а то яйцо или огурец, составляло некоторое подспорье к моему рациону, так как дома я редко бывал сыт. Но самое главное, пожалуй, что влекло меня в ночное, заключалось не в материальных благах.

Стренижив на пастбище лошадей, мы, человек пятнадцать-двадцать мальчишек и девчонок от восьми до четырнадцати-пятнадцати лет, облюбовывали уютное местечко где-нибудь под березой или в кустах и устраивались у костра на своих дерюгах. Затем, достав «продовольственные запасы», рассказывали вперемежку с едой забавные истории или сказки, обычно страшные, — о чертях, ведьмах, разбойниках. Страшные или смешные истории имели всегда наибольший успех, а среди нас были мастера рассказывать. Бывало, дрожь пробирает, мурашки бегают по телу, а слушаешь — не оторвешься... Любили мы и сказки о заморских принцессах, об Иванушке-дурачке, который получил полцарства и раскрасавицу невесту, и каждый из нас втайне мечтал, что это сбудется и с ним: и уйдет он из деревни, из горькой и голодной жизни в иной, прекрасный мир.

На лето и в нашей деревеньке поселялись дачники. От них-то, а также из книжек мы узнавали, что есть другая, более интересная жизнь, нежели наша крестьянская доля — от зари до зари не разгибать спину в поле и почти ничего не получать за свой труд. Мы смутно чувствовали

потребность изменить свою судьбу, и светлые образы сказок пробуждали в нас надежды. Мы верили в будущее, строили планы, которые мало напоминали жизнь наших отцов. Один мечтал стать учителем, другой — путешественником, третий — мастером на фабрике. Деревенская жизнь нас не прельщала. Наоборот, назревал какой-то смутный протест против бессмысленного труда и голодного существования. Очевидно, это и было причиной неясных детских мечтаний, увлечения небылицами. Наслушавшись всяких ужасов, мы забирались под свои дерюги и, прижавшись друг к другу, засыпали под гомон лягушек иочных птиц, редкое ржанье коней и смачное хрустене травы на лошадиных челюстях. Сейчас эта ночная симфония звучит в моих ушах замечательной музыкой...

Еще при отце, когда мне исполнилось восемь или девять лет, я начал ходить в сельскую четырехклассную школу. Учительница выделяла меня среди других ребят за то, что я хорошо читал и в общем был довольно смышлен. Мой «авторитет» настолько быстро рос, что учительница, занимаясь со старшими ребятами, иногда поручала мне «контролировать» младших. Проходя же мимо нашей избушки, она часто хвалила меня матери, говоря: «Акулинушка, твоего Сережу надо в город послать учиться».

Окончив школу, я действительно поехал учиться, но моей «гимназией» оказалась... сапожная мастерская.

По традиции почти всей Тверской губернии мужчины обычно уходили в город на отхожий промысел — обработанная примитивным способом земля не кормила, несмотря на тяжелый труд.

Мужчины нашей деревни занимались, как правило, сапожным делом. Например, все четыре брата матери были сапожниками. По их стопам должен был следовать и я — меня решено было послать в учение к одному из дядей — в Петербург. И вот холодным февральским утром 1914 года задолго до восхода солнца я с дядей и теткой отправился в свой первый далекий путь. На лошадях мы доехали до станции Кулицкой, неподалеку от Твери, чтобы сесть в поезд. Я, конечно, горел любопытством поскорей увидеть железную дорогу, которая в моем воображении рисовалась

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru